

Казнь Махамбета - 10/ продолжение

Category: Kitarcy, Romanlar

написано kitarcy | 24 января, 2025

Казнь Махамбета -10/ продолжение История четвертая

- Цена победы

Карауылкожа бежал. Бежал, как последний трус, отказавшись выходить на бой с Исатаем по древнему адату, хоть и обещался старшина бершей в своем послании, что битвь смертным боем не станет, а только сбросит с коня, ударит оземь, так, чтобы вся Великая Степь узнала, какая судьба ждет того, кто на земли этой степи посягать удумает, в личное владение забрать пожелает. Э, нет! Знаем мы этих сарбазов-дикарей, даром что под присягой хану ходят, вишь, взбунтовались же? А значит, нет меж ними, да дикими киргизами, как именует вольных родичей степняков, отказавшихся принимать присягу и служить государю Российскому, генерал-губернатор граф Перовский, никакой разницы! Им человека убить – что коня зарезать, и даже проще. И нет таким дикарям никакого дела, что человек этот, между прочим, образован, и в глазах всей империи российской цвет этих самых киргизов представляет, что дела его ханом одобрены, законно, по обычаю-адату на белую кошму взошедшим, и народ степи к развитию ведущим. Какие-такие поединки возможны с главарями бунтарей, о какой-такой чести они могут говорить, когда сами, изменив клятве, присяге, честь свою потеряли?

Так успокаивал себя бегущий из осажденного своего аула Карауылкожа, так оправдывал, однако с каждой мыслью, вроде бы призванной успокоить, еще громче, настырнее билось в сердце понимание того, кто он есть теперь, тот, кто сбежал от поединка, оставил на милость повстанцев свой аул, своих жигитов, свое добро... Добра было жальче всего. Хотя нет – себя было жальче. Ведь осрамился, как мужчина, как сын своего отца,

старшина своего рода и своих аулов – осрамился, и помнить о нем будет нынче степь, как о том, кто струсил! Ну, разве не жалко?

С тремя сотнями сарбазов пришел Исатай с юга на его кочевье близ Кызылкоги. Казалось, самонадеян старшина бершей, с такой малостью, да против тысячи жигитов ханского родича выступить решился, право же – самоубийца! Однако, когда завязался бой, короткий, яростный, жаркий, несмотря на февральский холод в степи, выяснилось, что каждый боец бунтовщиков, закаленный в бесконечных стычках с казаками, троих ханских жигитов стоит. Ведь к чему привык ханский сарбаз? Не к копьё и мечу, но к плетке рука его привычна, не с вооруженным врагом, что на равных с тобой сражается, и убить тебя может так же, как и ты его, но с безоружным бедняком-шаруа, наказываемым за недоимки подати, сражаться привычен жигит первого феодала Бокеевской Орды, как себя в душе называл Карауылкожа. Очень глубоко в душе, и очень тихо, чтобы упаси Аллах, хан не прознал, кого по-настоящему первым в новом российском феоде считает себя его родич. Считает, а потому и собрал свою армию из тысячи жигитов-сарбазов, которые на деле оказались не воинами, но палачами, сборщиками податей, да кем угодно, только не теми, кем должны были быть, когда дело дошло до войны!

Не помогли и ружья, тайно от русских, и даже самого хана, прикупленные для своей армии. Ну, как тайно – ружья приобретались с ведома хана Жангира, и на его деньги, тайком от русских, и для его личной «гвардии», жигитов из числа ближайших родичей, чьи семьи не пошли за Исатаем, будучи слишком обязанными хану. Однако почти треть из закупленного оружия оказывалась у самого Карауылкожи, еще в Астрахани научившемуся от русских купцов-подрядчиков да писарей при генерал-губернаторской канцелярии великой науке приписок и «откатов товаром». Тем паче, что при таких вот закупках, когда товар нелегален, цену завышай как душе угодно, хан все одно проверить не сможет, потому как не положено ему по чину со всякой сволочью, вроде торговцев краденным оружием, общение

иметь!

Вот и получилось, что ружья у Карауылкожи имелись, а вот стрелять из них жигиты его умели плохо – стрельбищ, из-за царского запрета, не заведешь, каждая унция пороха дороже золота, а охотой его жигиты даже не балуются, зачем им это, когда можно именем хана да под новыми законами скот у шаруа безнаказанно угонять?

Сотня стволов была у его жигитов, да только выстрелили хорошо если половина из них, а уж про то, чтобы в цель попасть, и говорить стыдно! Да и поди тут, попади, коли ты пицаль даже в руках держать не обучен, в скачущего на тебя во весь опор воина-кочевника. Да не просто такого же, как и ты, степняка, а опытного сарбаза, который годами вот так вот, без страха, на реестрового казака, той же пицалью вооруженного, скакать приучен, при чем с одной пикой в руке! Сарбазы же Исатая огнестрелов не использовали, хотя знал Карауылкожа, доподлинно знал – есть они у бунтарей! И ханский сродственник догадывался, отчего. Отважен Исатай, а хитрость с ружьями наверняка ему этот предатель, сын Утемисов подсказал. Уж завтра пойдут-полетят доклады генерал губернаторам, что в Астрахань, что в Оренбург, и вездесущие наушники орла двуглавого, орла имперского, зорко следящего за землями своими, непременно донесут, что вот, мол, нарушили запрет царский люди ханские, огнестрелом обзавелись, из пицалей по бунтарям стреляют, а значит, сам хан и люди его и есть преступники закона империи, и надобно их менять. А на кого? А на того же Исатая, будьте любезны, его и народ любит, и порядок он наведет рукой железной, не в пример умствующему, обложившемуся книжками хану Жангир-Керею! С ним рядом и верный человек муфтиев казанских, что миссию свою в степях по воле государства Российского творят – Махамбет, сын Утемисов, за которого, известно, особы из самого Санкт-Петербурга заступались! Не за просто так же! Не бесплатно же! У всего ведь есть своя цена. Значит, эти голодранцы обещали своим ресейским заступникам что-то очень ценное. А что может быть

ценнее власти?

Скачет-убегает Карауылкожа, за спиной его аул бунтовщики занимают, а мысли беглого родича ханского заняты уж совсем другим. Видит он изощренным в делах политических умом своим, куда клонят бунтовщики, к чему подбираются, и от коварства замыслов их аж дыхание перехватывает у Карауылкожи. А может, то от тряски на спине конской – отвык ханский родич, знатный бай Карауылкожа на коне-то скакать по степным бездорожьям, вот и тряско ему, седло в крестец впивается, спина уж ноет, бедра натерло – невмочь, да только не признает того никогда степняк, заживо похороненный в черной душе его. Все беды – от бунтовщиков и коварства ихнего, и не иначе!

А значит – и не убегает вовсе он, бросая за спиной свой аул и людей своих, нет! Он торопится-мчится к хану своему, Жангир-Керею, о коварных замыслах врага поскорей упредить, уведомить, поделиться ценными мыслями своими о делах степной да имперской политики, кои никто, кроме него, Карауылкожи, должным образом правителю и родственнику представить не сумеет. И значит – не трус он вовсе, а разумный человек! Ценный человек! А самое главное – живой человек... и все еще – очень, очень богатый человек! И если у всего есть своя цена... значит, у него тоже еще есть чем заплатить цену за свою будущую победу...

+ + +

– Василий Алексеевич, Ваше Превосходительство, будьте любезны стоять спокойно! – знаменитый живописец, выписанный из самого Петербурга, проговорил это с некоторым раздражением, однако же, довольно сдерживаемым – еще бы, герой турецкой войны, Анапу штурмом брал, с государем дружен, причем так, что августейший монарх простил ему даже связь с декабристами, генерал-губернатор Оренбурга к тому же за портрет свой сам не платил – опять же, государев подарок! При такой особе да раздраженье выказывать, будь ты хоть стократ знаменит, дорогого стоит может! Однако сиятельный натурщик раздражения художника, казалось, даже не заметил – граф Перовский нынче

сам был не то, чтобы раздражен, но скорее гневен, хотя военная выучка и позволяла гнев этот в узде держать.

Бывший комендант Калмыковской Крепости, указом самого графа отозванный со службы и возвращенный в присутствие в Оренбург, пребывал в смущении изрядном. И не только потому, что до сих пор никак не мог определиться в своем отношении к происшедшим в его жизни переменам, хотя перемены эти были преизрядными, и задуматься о них вполне себе стоило: с освобождением арестанта и бунтаря Махамбета Утемисова жизнь любителя живописи и по совместительству – коллежского асессора Семена Герасимовича Кричевского изменилась самым решительным образом. И не понятно было, к лучшему оно, или же..? Ну судите сами, милостивые государи – вроде как при самом графе теперь обретаешься, есть возможность выслужиться и в будущем протекцию выхлопотать на перевод из ставших ныне беспокойными степных краев куда-нибудь ближе к столицам, а хоть бы и на малую родину, в Суздальщину! Однако есть и обратная сторона медали сей, и сторона для русского чиновного человека весьма неприглядная – под бдительным оком генерал-губернатора Перовского мзды иметь никак не можно, да и должность ныне совсем не та! Ни тебе на фураже для крепостного гарнизона, оставлявшего изрядный profit, как сказали бы британцы, на спокойную старость, ни мелких благодарностей от родственников заключенных, «на холсты и краски», так сказать... Ничего! А жалованье коллежского асессора в связи с переводом под графский надзор, простите, менять никто и не думал! Вот и решай, где тут благо, а где козни дьявольские!

Впрочем, ныне господин Кричевский был смущен не заботой о земных благах, но, как добровольный и потому более истовый, нежели избравшие живопись себе ремеслом, служитель Глиптии, этой «десятой музы» утонченных натур, бывший тюремный комендант чувствовал ныне робость и восторг одновременно. Еще бы – ведь ему довелось присутствовать при работе самого Брюллова, этой живой легенды русской живописи, обласканного государем и столичным светом, и признанного тако же в Италии и

Франции! И не просто видеть все это, но даже...

– Любезнейший, а подайте-ка мне ту кисть, вот, которая подлиннее... – Карл Павлович Брюллов, действительный профессор Императорской Академии Искусств, только недавно вернувшийся из Италии на почетнейшее место в придворном искусстве, обратился к провинциальному коллежскому асессору вот так вот, запросто, по-приятельски, и Семен Герасимович не преминул тут же блеснуть и своим отношением, так сказать, к сонму служителей той же музыки:

– Вы этот вот *filbert* изволили просить, Карл Павлович? – и с глубоким поклоном протянул требуемую кисть именитому живописцу. Брюллов даже растерялся от неожиданности, но благодарно кивнул, и даже любезно поинтересовался:

– Тоже – художник? Имел честь видеть вас раньше? Бывали в нашей академии в Петербурге? Или, быть может, в Риме? На Капри?..

Семен Герасимович еще более смутился, несуразно замахал руками, будто прогоняя саму возможность такого знакомства:

– Что вы, что вы, никогда в Аппенинах... ни разу... а вот в академии... осьмнадцать лет назад... не прошел через экзаменацию, по настоянию родительскому пришлось все оставить, податься на службу... вот... хотя, знаете ли, все еще пописываю натуры...

– Вы, однако, забываетесь, милостивый государь! – окрик Перовского, словно зов Аида, прервавший полет музыки, и обрушивший ее, со сломанными крылами, в самую бездну Тартара, прекратил и полет души коллежского асессора, возвернув трепетную творческую натуру к его прямым служебным обязанностям. Граф смотрел строго, и даже страшно, белки «по-кавказски» больших глаз его, чуть на выкате, будто светились сиятельным гневом государственного человека, и Кричевский, вышколенный еще с гимназической скамьи, в единый миг превратился из художника в чиновника.

– Прошу прощения, Ваше Сиятельство! Виноват-с! Право слово – дурак-с! Как есть – дурак-с! – повторял, трясая головой, будто болванчик какой, Семен Герасимович, отчего на лице у столичного живописца появилось пренеприятнейшее, брезгливое выражение. Его сиятельство граф Перовский, в свою очередь, выражение это заметил, и решил гнев свой усмирить, потому как выглядеть в глазах столичной знаменитости тираном и самодурствующим солдафоном ему, ex-«декабристу» и некогда члену вольнодумного «Союза Благоденствия», никак не хотелось.

– Полноте вам, Семен Герасимович! Прекращайте уж, право!.. – пробурчал он, однако Кричевский никак не желал уняться, а если и желал, то страх, ввевшийся в кровь русского чиновника с первых шагов его карьерного роста, ни коим образом ему этого не позволял. Граф – человек опытный и искушенный в деле управления не только военным, но и чиновным сословием, прибег к самой проверенной методе:

– Господин коллежский асессор! Докладывайте, что делается для того, чтобы покончить с бунтом в Бокеевской Орде? Есть ли письма от Иванина?

– Имеется, Ваше Сиятельство! – будто опомнился Кричевский.

Собственно, ради этого доклада и явился коллежский асессор в кабинет к графу, поскольку о депешах от графского любимчика, капитана Михаила Игнатьевича Иванина, велено было докладывать незамедлительно. Этот самый капитан Иванин ныне занимал его, Кричевского должность, будучи назначенным в эту синекуру, на место коменданта Калмыковской крепости, где так тепло и сытно жилось еще недавно Семену Герасимовичу. О том, что сам он намерен в мыслях своих вовсю поносить и место свое, и крепость ту опостылую, волею судеб оказавшуюся расположенной в самом сердце бунта в бокеевских степях, Кричевский уже забыл, и к Иванину питал совершенно справедливую, на его чиновничий взгляд, неприязнь, и даже зависть. Однако служба есть служба, и Кричевский, с полагающейся по табелю о чинах покорностью и смирением протянул графу письмо.

Перовский покосился на живописца, вновь отметил нарастающее недовольство на челе столичной знаменитости, и потому позы менять не стал, скомандовал:

– Читайте вы! – и чуть мягче добавил, чтобы сгладить неприятное впечатление от командного тона своего. – Уж не сочтите за труд, сами видите, тут... искусству жертву приносим!

– Конечно-конечно, Ваше Сиятельство! – воодушевленно закивал прежним болванчиком Кричевский, и развернув капитанскую депешу, принялся читать вслух: – Его Сиятельству, генерал-губернатору Оренбурга, Перовскому Василию Алексеевичу! Заранее извиняясь за краткий стиль своего письма, спешу доложить Вашей Милости о текущем положении дел на вверенных мне территориях нашей Империи, а именно: о последних событиях в набирающем силу бунте киргиз-кайсаков супротив своего хана, поставленного милостью Государя нашего во главу Бокеевской Орды...

Тут Кричевский не сдержал чиновничьего инстинкта своего, и позволил себе вольность в злорадном комментарии:

– Однако же, ну и стиль у господина капитана! Кто же так депеши составляет? Как смеет он так в официальном эпистолярии Государя упоминать – ни тебе положенных чинов, ни непременно к упоминанию титулов?!..

– Вы это мне прекращайте, Семен Герасимович! Война в степи, не до чиновничьих ваших кунштюков нынче! – гнев, до сей поры исподволь тлевший в душе генерал-губернатора, вырвался было на волю, но тут же был безжалостно задавлен под осуждающим взглядом Брюллова, а также его недовольным:

– Ну, батенька, милый, Василий Алексеевич, просили же!..

Граф, в сиюминутном проявлении гнева своего изменивший было позу, вновь вернулся в былое положение, уже одними глазами приказывая коллежскому асессору продолжать чтение. И каждую новость в депеше уже встречал лишь многозначительным хмыканьем, да порою усугублял это дело вращеньем страшных, на

выкате, глаз.

Депеша и в самом деле была составлена предельно кратко, так что Кричевский довольно скоро зачитывал последний абзац:

– Поскольку бунтовщикам, возглавляемым опытным среди степняков в ратном деле Исатаем Таймановым, и соратником его, вдохновляющим многие аулы на неповиновение господам своим, степным пиитом-акыном Махамбетом Утемисовым, удалось одержать несколько мелких, но весьма громких побед над теми из киргизкайсаков, что в силу родственной привязанности сохраняют преданность хану Жангир-Керею, все большее число бедноты из степняцких кочевий вливаются в бунт, усиливая и распространяя его. Уже сейчас, согласно доносам из лагеря смутьянов, число вооруженных бунтовщиков перевалило за две тысячи, и цифирь эта грозит расти с нежелательным для нас постоянством. Справиться с бунтом силами малочисленных казачьих разъездов невозможно тактически, стратегия же не позволяет рассчитывать впредь на то, что смута может быть усмирена самостоятельно, силами самого хана Жангир-Керея. И чем доле мы будем тянуть с тем, чтобы выступить на бунтовщиков единым фронтом, собрав в одну экспедицию яицких казаков по реестру, немногочисленный гарнизон, расквартированный в Гурьеве, и тех из кайсаков, что сохранили преданность своему хану, тем выше для нас будет в последствии цена победы...

– Цена победы! Каков нахал! Мальчишка! – вскричал вдруг граф, сорвавшись со своего места, и в сердцах метнув кивер, что держал в правой руке, в сторону, ногой же задев мольберт, да так, что тот чуть не перевернулся, а Брюллов только и смог, изумленный, лишь встопорщить в негодовании свои напомаженные усы.

Но графу было поистине безразлично уже возмущение живописца, он наконец дал волю чувствам, и первые минуты с полторы изволил ругаться так, как, возможно, ругался при штурме Анапы, смущая османов богатством русского матерного лексикону. Кричевский в мыслях своих аж восхитился искусности, коей Его

Светлость сочетал похабности с непотребствами, а богохульства с вольнодумствами, выстраивая из них поистине изящные словесные конструкции, подобно башне вавилонской, произрастающие фундаментом из преисподней, и возносящимся к самым вышним эмпиреям. Местами речь генерал-губернатора напоминала запретного ныне цензурой Баркова, хоть и не имела присущей певцу русского бранного слова рифмы и сюжета. Поэзия в чистом ее виде, вот что это такое! – восторгался тою частью своего ума, что отвечала за художества, любитель живописи Кричевский. Другая же часть, служившая чиновничьим нуждам, удивлялась гневу начальства на своего фаворита. Впрочем, если убрать брань, и оставить только то, что действительно несло смысловое значение, то волнение героя крымской войны становилось объяснимым:

– Нахал и наглец! Мне – мои же мысли, мою же стратегию повторять! Да ведь это я, и никто другой, на своей лекции по военной стратегии в Императорском Кадетском Корпусе, на примере ошибок Александра Великого в азиатской кампании, это преподавал, а он, значит... и даже – без указания авторства!.. Читайте далее, Семен Герасимович, читайте! Что он еще там мне учить удумает, молокосос? Какой еще отрывок из моих же уроков мне возвернет?! – потребовал Перовский, так же неожиданно, как сорвался, вернувшийся на свое место, и даже позу принявши прежнюю, будто и не он мгновением ранее метался по кабинету разъяренным львом. Кричевский поспешил исполнить приказ, и продолжил читать письмо:

– Цена победы, как вы и учили нас в Кадетском Корпусе, во времена оные, и каковую вашу мудрость ныне *dans une action* наблюдать довелось!...

Перовский заулыбался, затем вновь сорвался с места, широким, солдатским шагом подошел к статскому советнику, и так же вдруг, неожиданно для того, обнял, и так крепко прижал к своей груди, что у Кричевского аж дыхание перехватило. В голове, в той ее части, что служила чиновничью службу, мелькнуло удовлетворение от снизошедшего понимания, отчего именно Его

Сиятельство, чье честолюбие стало притчей во языцех, так любит этого юного капитана, и во всем ему покровительствует. Граф же, в свою очередь, оторвался наконец от своего собеседника, повернулся к живописцу, подмигнул многозначительно:

– Слыхали, *mon cher*? Нет, вы слышали, каков удалец, а? Не забыл, значит, науку старика, помнит, и *dans une action*, значит, в практической, понимаете ли, жизни, пользует! Что может быть превыше чести для наставника, нежели пример науки, пошедшей впрок? Что еще нас, стариков, может в этой жизни радовать, я вас спрашиваю, *mon cher Santi*?

– Ну, положим, не такие уж мы с вами и старики, господин граф, да и до Рафаэля мне еще далече..., – засмутился Брюллов, однако, явно польщенный генерал-губернаторским сравнением. Настроение же Перовского с каждым мгновением словно улучшалось, он уже командовал Кричевскому, словно на плацу:

– Пишите, Семен Герасимович! Обращение к его сиятельству, генерал-губернатору Петербурга, графу Петру Кирилловичу Эссену! Помня о вашем непреходящем интересе к событиям, происходящим в ранее подначальным вам краях, считаю необходимым прежде, нежели действовать самостоятельно далее, как то и полагается мне согласно чину и занимаемой должности, со всем почтением уведомить и испросить совета по не терпящему отлагательства *malentendu* с небезызвестным вам бунтом в Бокеевской Орде. Памятую наказ ваш, как можно далее держаться от явного вмешательства в кайсацкую политику, однако события предприняли совершенно *terrible passage*, а потому считаю, что в дела кайсацкие следует вмешаться незамедлительно! В недалеком уже будущем предстоит нам покончить с произволом хивинцев, ставящим под сомнение господство русского оружия в этих степях, и установить это самое господство до самых киргизских гор на востоке. Затеять же такую кампанию, оставив в тылу бунт, никак не можно, и потому, дабы не преувеличивать цену предстоящей победы, просим высочайшего благословения вашего на немедленное и решительное подавление смуты в Бокеевской Орде, буде даже сие вмешательство нелюбезно и

неудобно правящему там волею Государя, хану Жангир-Керей! Ибо политика – политикой, но в деле военном имеет значение лишь цена победы!

+ + +

«Воистину, не даром Степь склонилась перед его великим предком, и не зря отцы наши и деды передавали власть над собой тем, в чьих жилах течет кровь могучего Шынгыс-хана!» – думал старый шаман, разглядывая своего нынешнего покровителя. Как ни старался он усмирить в себе это постоянное желание сравнивать их, потому как чувствовал себя невольным предателем своего жуза, своего рода и племени, однако заставить себя прекратить это угнетающее сопоставление не мог. Хан Жангир-Керей, сын Бокея, и вождь казахов среднего и старшего жузов, еще не хан, возведенный на белую кошму, но уже тот, кто вел за собой армию, большую по численности, чем все население Бокеевской Орды. Кенесары, сын Касима, отличался от своего дальнего родича всем, и во всем. Шала казак Жангир-Керей, воспитанный орысами в чужом для собственного народа духе, и нагыз казак Кенесары, словно воспитанный самой Степью, правитель степняков не только по праву рождения, но по самой сути своей, по дерзкой крови, помнящей и всесокрушающую ярость, и жесткую дисциплину запретов ясы Шынгыс-хана, по могучей плоти степняка, вросшего ногами в конские бока, крепкими руками – в узловатую рукоять булавы-шокпара, головой же высоко парящего под самым взором мудрого Неба-Тенгри... Хотя и тут успели подсуетиться муллы – не отрицая и не запрещая старые обычаи и обряды Степи, Кенесары во всем принимал законы шариата.

Однако старого шамана, покинувшего Бокеевскую Орду и земли младшего жуза, он принял, хоть и не подпускал к себе близко. Это брат его, Саржан, в прошлом году подло убитый кокандским ханом в Ташкенте, к старику прислушивался больше, и советы его доносил до Кенесары лучше, чем это получилось бы у самого шамана. Однако высокий покровитель погиб, и целый год о

существовании шамана в ставке Кенесары словно позабыли... до этого дня. Сам послал людей, просил явиться в его юрту. Зачем не сложно догадаться. Кокандцы – боле не союзники, бухарский эмир колеблется, русский же император все дальше заходит в степь, ставит свои крепости и гарнизоны, пользуясь враждой между Хивинским ханством и киргизами среднего со старшим жузов. Хива – гордячка, кость в горле всем и каждому, по мере выгоды своей то друг, то враг русским, ханьцам, жунгарам, кайсакам, наивно думает, что это она играет в свою игру, хотя не может хвост вертеть собакой, как бы сама собкак себя в этом не убеждала! Кенесары умен, хитер, понимает, что нужно сначала покончить с Хивой, и тогда можно бросить вызов императору орысов, заставить его признать право кайсаков Великой Степи самим выбирать себе правителя, принимать свои законы, и самим решать свою судьбу. Ему нужны союзники!

– Мне нужны союзники, шаман, и ты знаешь это! – стремительно-быстрый, словно степной беркут, Кенесары сразу заговорил о деле, как только дописал письмо на желтом листе рисовой бумаги, добравшейся в эти края аж из самого далекого Циня. Однако играть по правилам своего нынешнего покровителя, пусть даже и потомка самого Шынгыс-хана, старый шаман не собирался. Не умел, потому что, играть по чужим правилам. Оттого и вырвалось, вместо ответа, дерзкое слово:

– Что, даже не поздороваешься со стариком для приличия? Сразу к делу приступаешь?

– А какие с тобой, язычником, приличия у меня могут быть? Только не вздумай про возраст свой напоминать – ты тальхак, дарвиш, скоморох и шут старых богов, жрец забытых обрядов, к которым была слабость у брата моего..., – вспомнив о погибшем в Ташкенте Саржане, Кенесары на мгновение запнулся, на лицо его словно легла мрачная тень неизбывного, глубокого горя, но так же мгновенно ушла, уступив место жесткости, и даже, показалось – злости. Только от злости мог мудрый Кенесары сказать последующие слова: – Нет у твоего ремесла возраста, а значит и почтения к твоему возрасту у меня быть не может! Тому, кто не

идет по пути Аллаха, назначенному нам пророком Мухаммедом, салеяху-ас-салям, я уважение выказывать не намерен. Ты живешь в моем лагере, ешь с моего дастархана, и настала пора отплатить мне услугой...

«Да, не осталось в вас того, что так люблю я в своем, младшем жузе. Вы нас называете грубыми, а себя считаете честными, хотя даже в прямоте вашей – неприкрытое невежество и попрание всех заветов предков! Никогда никто из младшего жуза не стал бы попрекать гостя дастарханом и кровом, как бы надолго тот не остановился в его юрте! Эх, Кенесары, может, ты и лучший правитель для Степи, чем наш Жангир-Керей, да только не пойдет за тобой Запад, потому как не любят у нас невежество, и грубость с честностью путать – не любят!» – подумал шаман, вслух же сказал:

– Хочешь – прогони меня прочь, я теперь и куска мяса не возьму с твоего дастархана, однако услугу, в которой ты нуждаешься, сам тебе предложить хотел. Не ради крова твоего и еды из рук твоих, а потому, что народ степи – мой народ, хотя и сменил своего бога на пришлого, и свободным хочу я видеть степь не меньше твоего!

Смутился Кенесары, замолчал. Провел рукой по лицу, несущему на себе печать огромной усталости от давней борьбы своей, в которой, казалось, невозможно победить, от потерь дорогих людей, которых его бог никогда ему уже не вернет. Глубоко вздохнул вождь двух жузов, оперся могучими руками батыра в столешницу орехового дерева, встал с деревянной, обитой шелковым ковром бухарской работы, тахты, сам налил чаю в пиалу, своими руками поднес, поставил перед шаманом. Склонил голову, сказал смиренно:

– Прости меня! Забылся я, нарушил приличие, неподобающе говорил с тобой, хоть и не заслужил ты ни одного тяжелого слова от меня, будучи гостем моего бесконечного кочевья. Это все... все потому, что ты мне всегда о Саржане напоминаешь, а с этой потерей я так и не смирился! Боль вот тут, – стукнул себя

в грудь крепким кулаком Кенесары, – кинжалом острым сидит, мести требует, а я не могу! Хоть и благословлял меня весь диван имамов на карательный поход – иди, говорят, на бухарского эмира, истребуй ответа за кровь брата твоего! А я – не могу...

Кенесары опустил голову:

– Убью эмира – орысам царский подарок сделаю! Хиве угожу! Ханьцам пособлю! А значит, должен он жить, чтобы им костью в горле встать! Потому что прав ты, старик, нет ничего важнее, чем свобода народа моего, ставшего, подобно горе, истонченной ветром, таким маленьким, перед этими великанами, только и жаждущими окончательно лишить нас всех прав, подчинить и включить в состав своих ханств, эмиратов, империй! Простишь ли меня, шал?

Шаман, помнивший батыра Сырыма и его восстание, видевший, как не одного хана на кошму поднимали, власть вручая, казалось, был тронут искренностью Кенесары, и ответ его прозвучал мягко:

– Великое Небо не помнит обид человеческих, мне ли, его маленькому служителю, на тебя, чингизид, обиду хранить? Верно ты мыслишь, нельзя идти на эмира, а на Хиву самому идти – сил нет, и значит нужно этих самых сил набираться, а откуда их взять, когда и так оба жуза твою власть приняли, под твои санжаки встали?! Разве что только третий жуз, младший, гордый, которому орысы дали свое ханство, и тем от прочих своих братьев отделили, а такими и править, сам знаешь, много легче. Жангир-Керей хан никогда с тобой в союз не вступит, уж слишком ты орысов разозлил. А он под их царем ходит, от него власть имеет, и бешеной собаке, кусающей руку кормящую, уподобляться не станет. Он сам у нас – как орыс одет, как они говорит, и даже править как они удумал. Налоги новые ввел, собственность на земли и пастбища учинил, и своим только родичам эту собственность нынче в право определил. И даже имамов в его аулах, мулл в его кочевьях губернаторы орысов из Астрахани да Оренбурга назначают.

Кенесары с печалью посмотрел на шамана:

– Значит, младший жуз за мной не пойдет?

– Этого я не говорил, – покачал головой старик. – Как раз наоборот, шаруа, степняки, что по старому адату жить хотят, с радостью твой закон-ясу примут, в твою армию пойдут, за тебя кровь проливать станут. Только надобно, чтобы в армию твою их свой предводитель привел. Мой степняк, живущий в Степи закатного солнца, хоть и наивен, и хорошей драки не боится и даже любит ее, но слишком горд, и во главе своих отрядов никого не потерпит, если только между ними и тобой не будет тот, кому они верят, потому что – свой!

– Есть ли такой человек? – с загоревшейся в глазах надеждой спросил Кенесары. – Есть ли такие вожди у младшего жуза, что понимают, за что я борюсь, и поведут своих жигитов в битву за меня?

– Ты – чингизид, Кенесары, сын Касыма, в тебе кровь торе, и хочешь ты для степи правильных вещей, а значит, и люди, что тебя поддержат, в младшем жузе найдутся. Особенно сейчас, когда Исатай, сын Таймана, и Махамбет, сын Утемиса, объединились, и совместно ведут свою войну против нововведений хана Жангир-Керея! Тебе следует отправить посла к Исатаю, предложить ему союз...

– Тебя, шаман! Тебя и следует отправить! – Кенесары, несмотря на могучее сложение, легко вскочил на ноги, от избытка чувств радостно зашагал по просторной юрте взад и вперед, разговаривая будто с самим собой. – Именно так, и не иначе! Кого лучше всего послушают Исатай и Махамбет, как не старого шамана, который, к тому же, из их рода и племени?!..

Настала теперь очередь шамана печально качать головой, возражая:

– Нельзя меня отправлять, вождь! Исатай-то меня, может, и выслушает, но Махамбет, сын Утемиса – никогда! Так ты только еще хуже сделаешь, и посольство свое заранее на провал обречешь. Отправь лучше любого своего военачальника, такого, чтобы сам батыром был, чтобы мог на дерзость дерзостью ответить, а на стихи – стихами.

– Насчет стихов ничего не обещаю, а вот отважного и честного

человека для такого посольства найду. Говорят, ищешь друга – найди для всех общего врага, а раз так, то отправлю-ка я к Исатаю четверых своих сарбазов, из тех, что со мной в позапрошлом году обоз русских брали, с казаками реестровыми и гренадерами с одними кинжалами в руках расправлялись, и теперь за каждого из них орысский генерал-губернатор Перовский особую награду назначил. Поверит таким людям твой Исатай?

Шаман еле заметно улыбнулся:

– Мой? Пускай будет мой... Поверит! Должен поверить! Иногда вера – единственная цена победы!

+ + +

*Я, как тополь, был могуч,
достигая грозных туч,
для народа я – спаситель,
а для недругов же – мститель.
Словно сокол сильный, хваткий,
не покой искал, а схватку,
На скаку копьё вращая,
своим видом устрашая,
хоть сбивал я пыл коня, –
всех в атаке обгонял.
У мужей врагов не счесть,
Но коварнее всех есть,
С кем они повенчаны.
Это, братцы, женщины.*

Махамбет Утемисулы – «Я был могуч» Romanlar